

К. И. Зубков

НОМО GEOPOLITICUS: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В СВЕТЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ И ТЕОРИИ СТРУКТУРАЦИИ

Когда шведский юрист Рудольф Челлен в своих ранних работах выражал неудовлетворенность современным ему односторонним пониманием природы государства как исключительно юридической конструкции, он не только ставил под сомнение глубоко укоренившуюся интеллектуальную традицию, но и невольно заострял проблему провоцирующего свойства, значимую как для государственоведения, так и для всех социально-гуманитарных наук. Предметом пристального внимания Челлена стала та невыразимая в логико-рациональных (и, в этом смысле, вполне искусственных) категориях сторона государственного бытия, которая отождествлялась им с надындивидуальной «личностью», органоподобной «жизненной формой» (*lifsform*), развитие которой всецело подчинено стихийному проявлению ее внутренних витальных сил.¹ Челлен был не единственным и даже не самым последовательным сторонником организмической теории государства. Как доказывает шведский исследователь Свен Холдар, для Челлена уподобление государства живому организму было не более чем яркой аналогией, призванной подчеркнуть аспект его эволюционной динамики, наличие в его бытийной природе не только искусственной — юридической — стороны, но и естественной, восходящей к индивидуализирующим свойствам географии и этничности.²

Гораздо рельефнее и с большей прямолинейностью персоналистские и «организменные» трактовки государства представлены в тех течениях социальной мысли, которые черпали вдохновение в немецкой идеалистической философии с ее склонностью гипостазировать нации и государства, т. е. рассматривать их как обладающие собственным

бытием, одухотворенные сущности. Это интеллектуальное направление наиболее ярко выразили география и история как взаимодополняющие научные отрасли, раскрывающие два фундаментальных динамических изменения социальной жизни. Зачатки представлений о «возрастах» и «жизненных циклах» государств и человеческих культур можно обнаружить уже в географическом учении Карла Риттера,³ которое дало мощные ответвления не только в немецкой, но и в русской историософии (в частности, в концепциях Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева). Идеи Леопольда фон Ранке о государстве как особом «неповторимом индивиде» не только положили в Германии начало целой историографической традиции, но и пронизали неистребимым историческим духом стиль мышления немецкой геополитики. Любопытно, что Ранке, развивая свой взгляд на государство, разделял, в сущности, ту же неудовлетворенность его рационалистической трактовкой, которую испытывал Р. Челлен. Фридрих Мейнеке отмечал, что Ранке стремился уловить суть государства в его глубинной «внутренней жизни» как высшем «духовном принципе», составляющем «нечто, не поддающееся определению с помощью обычных логических средств мышления».⁴ Пожалуй, наиболее полное и законченное по радикализму выводов выражение эта тенденция мысли нашла во взглядах Фридриха Ратцеля, который перешагнул условность аналогий, отождествив развитие государства с жизнедеятельностью биологической популяции, вынужденной вести непрерывную борьбу за пространство и ресурсы для своего выживания.⁵ В данном случае речь шла не только о морфологическом сходстве внутренней организации государства с растительными сообществами или популяциями живот-

¹ См.: Челлен Р. Государство как форма жизни. М., 2008.

² Holdar S. The Ideal State and the Power of Geography: The life-work of Rudolf Kjellén // *Political Geography*. 1992. Vol. 11, № 3. P. 310, 311.

³ См.: *The Structure of Political Geography*. Chicago, 1969. P. 5; Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры: История географических идей. М., 1988. С. 194.

⁴ Мейнеке Ф. Возникновение историзма: пер. с нем. М., 2004. С. 444.

⁵ Ratzel F. *Anthropogeographie: Die Geographische Verbreitung des Menschen*. T. 2. Stuttgart, 1891. S. XXXIV; Idem. *Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krieges*. München; Berlin, 1903. S. 3–5.

ных, но и о принципиально общих законах их развития. (В этом отношении Ратцель не отрицал своей приверженности к социал-дарвинизму.)

Вышеотмеченный разворот в развитии социально-политической мысли, однако, нельзя объяснять только проекцией на него внешних обстоятельств, связанных с консолидацией и известной фетишизацией наций-государств, а также с усилением их империалистических амбиций. (Именно такая — на наш взгляд, несколько односторонняя — интерпретация взглядов Ф. Ратцеля была предложена в свое время американским исследователем Марком Бэссином⁶). Несомненно, история XIX в. — это прежде всего арена активности консолидирующихся национальных государств, которая имела отчетливую тенденцию если не поглощать без остатка, то, во всяком случае, подчинять себе частные политические интересы и индивидуальные проявления политического гения. Добавим, что все это происходило на фоне торжества в социальных науках позитивистской социологии, прежде всего дюркгеймовской социологической парадигмы с характерным для нее упором на изучение социальных структур. Однако по мере того, как индивидуальное поведение исторических акторов во все большей степени рассматривалось как результат причинного диктата общественных структур, активность последних — и в первую очередь государства, классов — напротив, с неизбежностью должна была интерпретироваться в категориях индивидуальной субъектности — «интереса», «поведения», «воли», «сознания», «разума» и т. п. Идеалистические теории, наделявшие государство как квинтэссенцию организованного общества самостоятельным жизненным инстинктом и даже собственным quasi-личностным сознанием, в этих условиях не могли не получить второго дыхания. (Как мы покажем ниже, это ни в коей мере еще не предрешает вопроса о научности или ненаучности этих теорий.) Возникшая на исходе XIX в. геополитика, избравшая предметом своего изучения спонтанную, наполненную динамикой жизнедеятельность государства, пожалуй, наиболее ярко воплотила эту антипозитивистскую тенденцию. То, что у Ранке осторожно формулировалось лишь в виде задачи «смутно предчувствуемого позна-

ния духовных законов, действующих в глубине (государства — К. З.)»,⁷ в учениях Ратцеля и Челлена обрело не лишние сильной образности конструкты государства-«организма», государства-«личности». Не больше шансов утвердиться методологически социологический позитивизм имел и в исторической науке, где редукция индивидуальных мотивов и намерений как детерминант развития общества была бы особенно болезненной и грозила уничтожить сам предмет исследования.

Эта резко обозначившаяся в области социальной теории эволюционная развилка в наибольшей мере являлась результатом кризиса социологического позитивизма, односторонности его философско-методологических оснований в подходе к такому сложному объекту, как общество. В самом деле, согласно логике позитивизма, не покидая пределов научности, нельзя было вообще говорить о воле или сознании социальных агрегатов, общественных структур, поскольку обладать ими они, в силу своей природы, не могут. В то же время тезис о полном господстве агрегированных социальных сил над индивидом лишил индивидуальную человеческую деятельность какого бы то ни было смысла и ценности. Возникал вопрос: как при таких исходных посылах вообще можно было мыслить развитие общества? В исторической науке, как отмечал Ф. Мейнеке, данная проблема приобретала специфические, но, в целом, похожие очертания, сводясь к трудноразрешимому вопросу: «должен ли историк понимать историю индивидуалистически или коллективистски? ... рассматривать великие события и деяния как дело творческих личностей или как результат существующих в обществе потребностей и тенденций?»⁸

Возникшую в связи с этим проблему восстановления единства всеобщего и индивидуального в социальных науках пытался разрешить на рубеже XIX и XX вв. феноменологический подход, который сделал упор на описание и анализ социальных реалий и процессов, какими они предстают в повседневной жизни индивидов, — их «жизненного мира» (life-world) и связанных с ним состояний сознания. Феноменология «жизненного мира» не только стирала границы между материальным и идеальным, утверждая единство

⁶ См.: Bassin M. Imperialism and the Nation State in Friedrich Ratzel's Political Geography // Progress in Human Geography. 1987. Vol. 11, № 4. P. 473–495.

⁷ Цит. по: Мейнеке Ф. Указ. соч. С. 444.

⁸ Там же. С. 445.

человеческой практики и сопровождающих ее состояний психики и сознания, но и вывела за скобки всякие предварительные суждения о социальных структурах как внешних по отношению к человеку. По существу, феноменология осуществляла полную инверсию позитивистского понимания общества и человека, рассматривая социальный мир прежде всего как творение самого человека, релевантное только в той степени, в какой оно освещено исходными человеческими смыслами и учитывает уникальный по своей сути человеческий характер всякого социального взаимодействия. В социологии феноменологический подход как целостная «программа» построения обновленной теории социального действия, адекватной человеку и принципам организации его «жизненного мира», утвердился благодаря работам австрийско-американского социолога Альфреда Шюца.⁹ Сам Шюц, однако, рассматривал свое творчество в контексте достаточно широкого антипозитивистского течения в социологии, к которому причислял в первую очередь «дескриптивную» социологию Георга Зиммеля, отстаивавшую «сведение всех материальных социальных феноменов к особенностям поведения индивида и дескриптивное описание частных общественных форм подобных разновидностей социального поведения», и «понимающую» социологию Макса Вебера, чья *Verstehen*-концепция ставила предварительным условием построения социальной теории любого уровня распознавание смыслов, целей и намерений человеческой деятельности.¹⁰

Для исторической науки самым заметным и значимым проявлением феноменологической реакции на социологический позитивизм стало, несомненно, развитие антропологического подхода, ориентированного на непредубежденное, свободное от априорных установок исследование культурных практик человечества во всем наблюдаемом богатстве их проявлений. Хотя вопрос о продуктивном синтезе истории и антропологии стоит давно и были даже попытки определить приоритетные сферы их предметного сопряжения (власть, авторитет, отношения обмена, ритуалы, системы социальной классификации, представления о времени и пространстве — у Бернарда

С. Кона;¹¹ живые процессы социальной интеракции, символическое поведение, способы интеграции социальных систем, «чужие» культуры — у Натали З. Дэвис¹²), обе дисциплины в основном сохраняют свое собственное предметное содержание и специфику метода. Историкам, в отличие от антропологов, как правило, недостает глубины проникновения в природу конкретной культуры, способности ставить вопросы, важные для понимания того, как эта культура конституирует и осмысливает себя. Изучать культуру иначе, как остроумно замечает Джордан Гудмэн, это все равно, что считать, что «Гамлет» — это пьеса о датском принце». В то же время антропологи имеют большие проблемы с помещением своего культурного материала (часто экзотического и уникального) в более широкий контекстуальный план, включающий прежде всего темпоральную и каузальную структуру исторического нарратива, ценностную типологию событий по их структурным последствиям и т. п.¹³ Как бы то ни было, для истории антропология оказалась той дверью, которая приоткрыла ей выход в пространство широких междисциплинарных связей, что на отдельных направлениях исследований не только породило вполне жизнеспособные «гибриды» («культурная история», «историческая антропология», «этнографическая история» и т. п.), но и обеспечило настоящие методологические прорывы.

Характер взаимоотношений истории и антропологии (близкородственных, но не допускающих полного слияния научных отраслей) наглядно демонстрируют методологические сложности, с которыми сопряжены попытки перейти от исследования уникальных культурных «миров», постигаемых изнутри, со стороны действующего в этой культуре индивида, к общезначимому пониманию социальной истории, т. е. к моделированию развития крупных социальных агрегатов (от больших социальных групп до наций и других государственно организованных обществ). В свое время эта проблема оказалась почти неразрешимой для классической герменевтики: чем более целостным становилось постижение

⁹ См.: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.

¹⁰ Там же. С. 690, 691.

¹¹ См.: Cohn B. S. History and Anthropology: The State of Play // Comparative Studies in Society and History. 1980. Vol. 22, № 2. P. 216, 217.

¹² См.: Davis N. Z. Anthropology and History in the 1980s: The Possibilities of the Past // Journal of Interdisciplinary History. 1981. Vol. 12, № 2. P. 267.

¹³ См.: Goodman J. History and Anthropology // Companion to Historiography. L.; N. Y., 1997. P. 786, 787.

нами внутреннего духовного мира исторической личности, тем более изолированным этот мир становился от возможности корреспондирования с другими подобными индивидуальностями, а значит, и с социумом в целом. Макс Вебер стремился решить эту проблему, выделяя в системе индивидуального социального действия так называемый «целерациональный» элемент — фактически, сгусток индивидуального опыта, обладающий общесоциальным значением и служащий «мостиком» к социальному взаимопониманию и взаимодействию.¹⁴

Феноменологическая концепция «жизненного мира» оказалась достаточно гибкой, чтобы учесть подобные проблемы и наметить собственные пути их разрешения. В первоначальной версии концепт «жизненного мира», по существу, копировал веберовский подход, допуская существование так называемого «нетематического горизонта» сознания индивида, который обеспечивает лишь «предварительное», наименее связанное с индивидуальными смыслами деятельности знание о внешней реальности и таким образом открывает путь к взаимопониманию индивидов — по крайней мере, принадлежащих одной культуре.

Более зрелая, историзированная и неплохо подкрепленная эмпирическим материалом, социологическая интерпретация генезиса социальных институтов из повседневности «жизненного мира» была предложена в известной концепции Питера Бергера и Томаса Лукмана.¹⁵ Следуя в основном феноменологическим принципам, эта концепция фактически намечает уже постфеноменологическую перспективу, поскольку исходит не из конфликта, а из необходимости согласования принципов творческой автономии индивидуального «жизненного мира» и принудительности воздействия социальных структур на индивида. Отправным пунктом в концепции Бергера–Лукмана служит феноменология знания, понимаемого не в его специализированных (например, научных) формах, а прежде всего в бытовом, предшествующем всякой теории виде — как опытное знание, значимое для

повседневной жизни. Поскольку такое знание ориентировано на решение практических проблем, оно становится главным предметным содержанием процессов социализации и подвергается закреплению («седиментации», или «осаждению», по терминологии авторов) и типизации в человеческих коллективах на основе многократных повторений. Хотя новый опыт непрерывно творчески производится индивидами, этот процесс происходит уже под воздействием совокупного объема социального опыта, предстающего в форме институционализированного знания.¹⁶ Несомненной заслугой Бергера и Лукмана является реабилитация понятия «опыт» не только как отражения основного реального содержания социальных процессов, но и как категории социально-исторического познания. Более того, на наш взгляд, именно категория «опыт» открывает возможность показать, как реально совершается переход от субъективно конструируемого индивидуального «жизненного мира» к возникновению объективированных социальных структур.

Возвращаясь отчасти к исходному пункту нашего анализа, попытаемся показать это на примере соответствующей концептуализации научных оснований геополитики.

Первое, что необходимо отметить при характеристике исходных когнитивных оснований геополитики, — это то, что по своему происхождению она, по существу, является историко-социологической концепцией, которая, опираясь на методологию географического детерминизма, стремилась выявить влияние географической среды на направления и формы социальной деятельности людей. Первыми образчиками геополитической мысли (возникшей задолго до оформления геополитики как самостоятельной научной дисциплины) можно считать известные труды Ж. Бодена, Ш. Монтескье и ряда других мыслителей, в которых содержались попытки обнаружить в укрупненных тенденциях развития человеческих обществ проявления закономерностей, связанных с особенностями тех или иных воздействий природно-географической среды на человека. Важно отметить, что географический детерминизм был едва ли не первым из собственно научных, рационально обоснованных методов, посредством которых — пусть в наивно-натуралистической форме — но все

¹⁴ Об этом подробнее см.: Зубков К. И. Исторический опыт как категория исторического познания: к проблеме дифференциации понятия // Россия между прошлым и будущим: исторический опыт национального развития: Материалы Всероссий. науч. конф., посвящ. 20-летию Института истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2008. С. 552, 553.

¹⁵ См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. М., 1995.

¹⁶ Там же. С. 108–119.

же делалась попытка преодолеть средневековый идеалистический провиденциализм в истолковании человеческой истории. Логика познания человеком себя и своей собственной истории в данном случае полностью совпадает с тем бесспорным фактом, что природно-географическая среда была исторически первым «материалом», из которого могли складываться эти представления его «жизненного мира». Первичность этого факта практически никогда не подвергалась сомнению. С презумпции этой коренной, никогда не исчезающей связи человека с раскрывающей его силы и способности географической средой начинал построение своей системы антропогеографии Ф. Ратцель: «Человек есть дитя земли не потому только, что он рожден из земли, и не потому, что земля носила в себе человека с появления первого зародыша органической жизни, так что все раньше созданное предсказывало человека. Он явился на землю с потребностью воспитания и способный к воспитанию. Земля воспитала его в борьбе со всеми ее силами и существами, и его частная история тесно переплетается с историей земли вообще. <...> Человечество, как мы теперь его видим, есть продукт его собственной истории и вместе с тем истории земли».¹⁷ Характерно, что Жан Боден, предпринимая в своем «Методом легкого познания истории» попытку дать «правильную оценку истории» путем всеобъемлющей систематизации ее материала, исходным принципом сделал именно обращение к влиянию географического фактора — во-первых, как к некоторой самоочевидности, во-вторых, как к тому, что «познавалось долговременным опытом».¹⁸ В знаменитом труде Ш. Монтескье «О духе законов» (1748) впервые была осуществлена попытка вывести из свойств природно-географической среды происхождение политических институтов, но при этом главным звеном этой связи по-прежнему выступали «общественные нравы», «характеры», «темпераменты» народов¹⁹ — то, что рассматривалось в качестве непосредственного продукта «воспитания» природой едва ли не со времен античности. Статичность многих «матриц» представлений о влиянии географи-

ческой среды на человека поразительна: например, рассказ Полибия о том, как аркадяне стремились введением музыкального образования смягчить свои «суровые нравы», сформированные «холодным и туманным климатом» горной местности,²⁰ еще в 1930-х гг. обсуждался в России образованной публикой в качестве рецепта усмирения и «цивилизации» воинственных кавказских горцев.²¹

Все эти наблюдения позволяют сделать предварительный вывод о том, что вести речь о влиянии природно-географической среды на общество в абстрактном, общесоциальном контексте как о строго объективной детерминации социальных процессов неправильно и бесполезно. Об этом влиянии, скорее всего, можно говорить лишь применительно к отдельным сферам опыта, значимого для повседневной жизни, причем в той степени, в какой сам этот опыт осознается и становится институционализированным знанием, а значит, элементом конкретной культуры. Отсюда и удивительная пластичность такого опыта, т. е. возможность его актуализации в широком социальном диапазоне — от элемента «жизненного мира» отдельного индивида до институционализированных элементов культуры больших коллективов и целых обществ. Это может до известной степени объяснять (если не в деталях, то на уровне общих посылок) и механизм переноса на крупные социальные агрегаты субъектных свойств индивидуального «жизненного мира», наделение их «волей» и «сознанием».

Например, когда Ф. Ратцель отмечает, что Великая греческая колонизация Средиземноморья в VIII–VI вв. до н. э. в основном следовала участкам морского побережья «со знакомыми очертаниями», встречающимися в Греции (широкие заливы, крупные мысы, скалистые острова),²² понимать эту «привязку» человека к свойствам среды следует не как объективно заданную, а уже в контексте определенного культурного опыта греческих колонистов (в данном случае неважно, идет ли речь об индивидуальном или же коллективном выборе колонизируемой местности). По крайней мере, в пользу такого выбора было одно весомое преимущество — знание того, как можно практически использовать эти хорошо знакомые

¹⁷ Ратцель Ф. Человечество как явление жизни на земле // История человечества: Доисторический период. СПб., 2003. С. 107.

¹⁸ Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000. С. 79.

¹⁹ См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 157–734.

²⁰ Полибий. Всеобщая история. Т. I. СПб., 1994. С. 363.

²¹ См.: Осли Э. Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и войны за влияние. М., 2008. С. 178.

²² См.: Ратцель Ф. Указ. соч. С. 108.

свойства местности. Не менее показательны в этом плане современные дискуссии специалистов по римской Британии, задававшихся вопросом: почему римские завоевания на острове ограничились только так называемой «низменной зоной», тяготеющей к юго-востоку, и не затронули шотландский Хайленд и гористые местности Уэльса? При всех вариациях ответов-предположений было выделено два фактора, ограничивавших ареал римской экспансии, — наличие в «низменной зоне» продуктивных пахотных земель, пригодных для создания поселений, и относительно легкое сообщение с метрополией, что позволяло надеяться на решительные успехи романизации.²³ Как мы видим, в обоих случаях опять речь идет о практической ценности географического пространства, которая удостоверена опытом определенной культуры.

Несколько сложнее вопрос о том, как формируются сложные социогеографические пространства, как и почему совершаются переходы человека из географической среды одного типа в другую. Ф. Ратцель в одних случаях объяснял это непрерывностью распространения элементов географической среды (водных масс, воздушных течений, почвенных покровов и т. п.), которые как бы «ведут» за собой человека, вызывая «историческое действие неорганического движения». Однако ученый гораздо более убедителен и геополитически точен, когда пишет о транзитных факторах географической среды, приобретающих политическую ценность для конкретных государств, например о значении экспансии Германии по течению Дуная для обеспечения выхода ее торговли в Черное море.²⁴ Эти наблюдения дают ключ к пониманию соотнесенной с прогрессом человеческого опыта исторической последовательности формирования сложных геополитических пространств — сначала преимущественно однородных, затем транзитных и, наконец, нодалных (узловых).

Наблюдавшийся с середины XIX в. закат популярности методологии географического детерминизма и связанных с ним историко-социологических концепций, смена учений о прямом влиянии природно-географической среды на направление и характер развития общества более «эластичными», «поссибилистскими» трактовками, вводящими в ана-

лиз взаимоотношений общества и природы медиаторный фактор культурной адаптации, делают затруднительным объяснение того, почему буквально через полвека, на рубеже XIX–XX вв., географический детерминизм вновь возродился и даже усилил свои позиции — на этот раз в виде геополитики. На наш взгляд, единственно возможное объяснение этого парадокса заключается в тех принципиально разных представлениях, которые предлагают для понимания роли географического фактора в истории, с одной стороны, традиционные версии географического детерминизма (в какой-то мере отчасти разделяемые и современной исторической географией), а с другой, — геополитика. Эти различия можно свести в основном к следующему.

В отличие от историко-географического подхода, который «конкретизирует наши представления о пространственной стороне исторического процесса ... изучает географию исторического прошлого человечества»,²⁵ геополитика оперирует не просто категориями пространственно-географического развития общества, но представлениями о структурных свойствах и измерениях историко-географического пространства. Это, в частности, означает, что географические элементы, характеризующие и состав той или иной исторически формирующейся государственной территории, и ее положение в мировой (и/или региональной) системе государств, могут быть, с позиций геополитики, далеко не равноценными. Многие из них могут иметь определенное экономическое значение, но при этом не играть сколько-нибудь важной роли в решении приоритетной задачи существования любого государства — задачи его стабилизации и выживания во враждебном окружении, поддержании его безопасности; другие же, напротив, в процессе своеобразного исторического «отбора» выявляют свою стратегическую роль в качестве опорных элементов всей социальной, экономической и политической конструкции государства, определяя тем самым в решающих моментах структуры исторического действия. Такие критически важные для существования государства географические элементы его территории, взятые в системном, конфигуративном единстве, принято обозначать как геополитический паттерн (англ. pattern «об-

²³ См.: Salway P. Roman Britain. Oxford; N. Y., 1998. P. 4, 5.

²⁴ Ратцель Ф. Указ. соч. С. 108, 109.

²⁵ Муравьев А. В., Самаркин В. В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V–XVII вв.). М., 1973. С. 3.

разец, модель»). Иначе говоря, геополитика вводит в анализ взаимоотношений общества и природно-географической среды ценностный компонент, который проявляется прежде всего в «отборе» и моделировании самим человеком тех географических свойств территории, которые действительно критически важны для выживания народа как государственно оформленной общности и для решения других насущных практических задач. Это ценностное отношение к определенным свойствам географической среды не только подчеркивает, многократно усиливая и, так сказать, возвышая, их реально-объективное значение для человеческой деятельности, но и вводит их в регулятивную сферу человеческого мышления как комплекс осознанных мотивов и способов деятельности. В свое время в «Науке логики» Гегель выразил это взаимодействие природного и духовного афористически четко: «Дух познает в природе логическую идею и возвышает, таким образом, природу до ее сущности».²⁶ И далее он следующим образом поясняет эту мысль: «Что касается прежде всего природы, то она нередко служит предметом удивления главным образом лишь благодаря богатству и многообразию ее образований. Однако это богатство как таковое, взятое независимо от уровня раскрытия в нем идеи, не представляет собой высокого интереса для разума, и в великом многообразии органических и неорганических образований оно доставляет нам лишь зрелище случайности, теряющейся в тумане неопределенности. Это пестрое многообразие видов животных и растений, беспрестанно меняющийся вид и расположение облаков и т. п. не должны во всяком случае ставиться выше столь же случайных фантазий предающегося своему произволу духа. Удивление, с которым мы встречаем подобного рода явления, представляет собой очень абстрактное отношение к вещам, от которого следует перейти к *более конкретному проникновению во внутреннюю гармонию и закономерности природы*».²⁷ Таким образом, стратегическая ценность географического пространства для человека и есть та методологическая «скрепа», которая соединяет, с одной стороны, все многообразие стихийно-случайных, «абстрактных» (в данном контексте — неосознанных)

форм взаимодействия человека с природой, а с другой — наделение ее социальной сущностью посредством структурирующих форм опыта и мышления. Такая трактовка геополитики, на наш взгляд, позволяет непротиворечиво объяснить, во-первых, соответствие категорий геополитического анализа реально-объективным свойствам географического пространства (нередко удостоверяемое как раз стихийно-эмпирически, на уровне безотчетного следования людей, так сказать, указаниям среды), а во-вторых, функционирование и развитие геополитики как своеобразной, руководящей политиками философии, или идеи, пространства. Например, значимые для геополитического анализа представления об «органичности», «завершенности» национально-государственной территории (то, что Рудольф Челлен определял как превращение государства в надындивидуальную «географическую личность») есть не столько произвольно формируемый географический «образ», сколько результат опытной оценки, осознания и регулятивной актуализации реальных стратегических преимуществ, которые государству обеспечивает выход к морям, завоевание бассейнов рек, прохождение его границ по естественным рубежам (например, по крупным рекам и горным хребтам) и т. п.

Уже из одного этого примера видно, что в функциональном и ценностном отношении — а именно под углом зрения внешней безопасности — здесь объединяются в единую структуру «силы» совершенно разные географические элементы государственной территории, которые в рамках чисто географического анализа группировались бы принципиально иначе. В контексте этого вывода остается определить: как, собственно, формируется это ценностное отношение к географическому пространству? что лежит в основе этого отношения? Безусловно, оно формируется опытно-историческим путем — как отражение в общественном сознании определенных повторяющихся схем, или алгоритмов, движения человека в пространстве, детерминированных стратегической ценностью тех или иных свойств географической среды и непрерывно закрепляемых в индивидуальном и коллективном опыте. Если исходить из общего понимания структурной связи как связи устойчивой и повторяющейся, то устойчиво воспроизводимые пространственные схемы социально-исторического действия, на-

²⁶ Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука логики. М., 1975. С. 373.

²⁷ Там же. С. 318, 319. Курсив мой — К. З.

следуемые в виде определенного опыта, могут в данном случае служить индикаторами структурных свойств самого географического пространства.

Целый ряд продуктивных подходов, разработанных во второй половине XX в. в рамках социогеографии, в какой-то степени созвучны геополитическому пониманию социальной сущности пространственных структур. Географическое пространство структурно постольку, поскольку оно социально. Структуры пространства задаются, как правило, долговременными процессами перемещения в нем агрегированных масс людей как определенные устойчивые «каналы» географической мобильности (а потому и как закрепленные в опыте модели территориального поведения), формируемые, с одной стороны, комплексом запретительных и нормативно-разрешающих характеристик географической среды, с другой — соотношенными с ними видами и способами социально-исторической деятельности.²⁸

Конечно, было бы упрощением понимать структуры вообще и географические структуры в частности только как некий визуально фиксируемый «скелет» изучаемого объекта (в первом случае) или конкретной территории (во втором случае), хотя, в принципе, сеть пронизывающих территорию путей сообщения в сочетании с показателями интенсивности их

использования могла бы служить аналогией некоего ее пространственного «скелета». Однако более общий и универсально применимый к частным случаям метод осмысления пространственных структур в специфически геополитическом контексте удачно, на наш взгляд, намечает теория структуризации английского социолога Энтони Гидденса. Согласно этой теории, самое первое, элементарное понимание структуры всегда сводится, по существу, к комбинации ресурсов и правил социальной практики. Если мы ведем речь о неких структурирующих свойствах определенного пространства, то мы говорим о них прежде всего как о ресурсах (объективных факторах) и правилах (субъективно-поведенческих факторах), детерминирующих развертывание в течение определенного времени сходных социальных практик на этом пространстве.²⁹ Такая интерпретация понятия «общественная структура» уже не противостоит жестко феноменологическому пониманию человеческих практик и признанию их активной роли в конструировании социального мира. Таким образом, можно констатировать, что феноменологический подход, завершая логический цикл своего развития, открывает новую перспективу понимания связи человеческой субъективности со структурными характеристиками общества.

Ключевые слова: *история, государство, общество, индивид, феноменология, «жизненный мир», антропология, геополитика, структуризация*

HOMO GEOPOLITICUS: GEOPOLITICAL KNOWLEDGE THROUGH THE LIGHT OF PHENOMENOLOGY AND STRUCTURATION THEORY

Based on the analysis of methodological complications related to interpretation of relationship between the individual and the social and structural characteristics of the evolution of society the author reviews the potential for application of phenomenological approach in social and historical studies. The meaning of the method is explained on a case study of the conceptual apparatus of geopolitical theory. As is demonstrated in the article the phenomenological approach, in addition to rehabilitation of the academic and theoretical content of “experience” concept, also offers possible ways for the non-contradictory combination of a phenomenological “lifeworld” concept and the modern structuration theories.

Konstantin I. Zubkov

²⁸ См. об этом подробнее: Джонстон Р. Дж. География и географы. М., 1987.

²⁹ Гидденс Э. Структура, структуризация // Контексты современности-1: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории. Казань, 2000. С. 42, 43.